

П. Д.
БОБОРЫКИН



Избранное



Петр Дмитриевич Боборыкин

Памяти Тургенева

«Русские не могут рассчитывать на долголетие, особенно – писатели. Давно уже вычислено, что средняя цифра жизни русского человека умственного труда – что-то вроде тридцати шести лет. Не шестьдесят пять, а по крайней мере век покойного канцлера князя Горчакова пожелал бы каждый Тургеневу, но и с той же бодростью, с тем же здоровьем. А ведь страдалец, уснувший в Буживале, мучился около двух лет в страшных болях...»

**Петр Дмитриевич Боборыкин
Памяти Тургенева**

Роялист восклицает:

– Le roi est mort, vive le roi![1]

А мы скажем: умер дорогой наш художник, и заживет он вновь, во веки веков! До тех пор, пока не смолкнет русская речь! Умер человек, но национальная наша слава и гордость не померкнут. Имя и обаяние Тургенева разойдутся по всему грамотному свету.

Русские не могут рассчитывать на долголетие, особенно – писатели. Давно уже вычислено, что средняя цифра жизни русского человека умственного труда – что-то вроде тридцати шести лет. Не шестьдесят пять, а по крайней мере век покойного канцлера князя Горчакова пожелал бы каждый Тургеневу, но и с той же бодростью, с тем же здоровьем. А ведь страдалец, уснувший в Буживале, мучился около двух лет в страшных болях... Разве смерть – не избавительница в таких мучениях? Конечно, да. Надо это говорить прямо. Читать подробности, вроде опубликованных на днях по рассказу одного издателя, – было слишком тяжело за покойного. Он знал, что смерть стоит над ним; а тут еще надо говорить о постылых издательских делах, об ис-

полнении своих обещаний... Ему, человеку тихой жизни, не знавшему излишеств, – судьба послала такой же адски долгий конец, как и Некрасову. И он, наверно, повторял не раз среди ужасов бессонных ночей стих своего приятеля, сделавшегося потом недругом:

Хорошо умереть – тяжело умирать.

Но зачем говорить только о конце?.. Выкиньте три, пять лет, и останется шестьдесят, из которых в течение тридцати он радовал всех полетом своего творчества... Тридцать лет! Многим ли досталось это в удел? Тургенева родина не переставала любить, хотя его писательство подвергалось крутым переменам симпатий и в молодой публике, и в критике.

В самый расцвет его сил, после блистательных успехов с «Дворянским гнездом» и «Накануне», он, по жалкому, хотя и понятному недоразумению, оттолкнул от себя на время известную долю молодежи и тогдашний радикальный журнализм величайшим своим произведением: «Отцы и дети». Не забудем,

что передовой тогдашний журнал «Современник» с ликованием выступил против него статьей «Новейший Асмодей». Статья эта останется памятником того, как тенденциозность и узость понимания могут играть, в данный момент, роль чего-то нового, торжествующего... Перечтите ее для интереса, и вы увидите, до чего могли доходить ослепление и отсутствие чутья и вкуса!..

Но и позднее в течение целых десяти – пятнадцати лет Тургенев находился в опале. Его авторские признания, написанные в Баден-Бадене, в конце 60-х годов, прямо указывают, как он себя тогда чувствовал как русский писатель. Он совсем было решился прекратить свою деятельность. Говорил он это многим, и приятелям, и простым знакомым. Это желание забастовать было вызвано не тем только, что он связал свою судьбу с семьей Виардо и поселился за границей. Сюда входила и обида, горечь, сознание того, что его перестали понимать *новые* русские люди, для которых он всегда искал идеалов и образов. Не только радикалы и народники, но и либеральные зубоскалы, перебежавшие те-

перь в охранители, шедшие на буксире ругательных настроений, делали Тургенева предметом газетных фельетонных пародий. Рецензент тогдашних «Санкт-Петербургских ведомостей» забавлялся этим, и такая недостойная игра, конечно, не подходила к общему честному направлению газеты покойного В. Ф. Корша... В «Деле» и «Отечественных записках» продолжали дуться на Тургенева, и со смерти Писарева, который понял Базарова как надо, вряд ли появилась в них хоть одна дельная сочувственная статья.

Помню, при мне Некрасов получил рукопись от начинающего, под заглавием «Всероссийский фаворит». Это было едкое обличение всей писательской карьеры Тургенева с точки зрения народника 70-х годов. Редакция увидела в авторе бойкость; *статья ей понравилась*; но она не решилась из благоразумия напечатать ее. С тех пор автор ее сделался одним из теперешних тенденциозных рецензентов, считающих себя солью земли.

И шло это так вплоть до 1878 года. Стало быть, захватило и «Новь», которой крайний лагерь молодежи опять не понял; да и жур-

налы с газетами отнесли к этому роману очень узко, за исключением двух-трех органов. В Москве в кружке молодых профессоров Ивана Сергеевича, так сказать, *заново* начали чувствовать, и оттуда, с одачи, сделанной ими на заседании Общества любителей словесности в Физической аудитории Московского университета, пошел ряд других одаций и чувствований. Из Москвы они перелетели в Петербург. В Москве, с хор аудитории, студент от лица товарищей еще читал автору «Записок охотника» как бы сочувственную *нотацию* за то, что он не понял новейшей молодежи; но потом проявление симпатий пошло все в гору... В Петербурге самыми страстными восторгами заявила себя женская публика, на одном из публичных вечеров вся почти состоявшая из слушательниц высших курсов. Сам Тургенев рассказывал нам про этот вечер с особым одушевлением.

– Ничего не может сравниться, – говорил он, – с ощущением тысячи девственных голосов... Что-то могучее и пылкое... невыразимое!

И он вспоминал с тихим и теплым юмо-

ром, как эти девушки кинулись на эстраду, обнимали его, обрывали листы с венков, надевали сами на него шубу, укутывали шарфом...

Этот вечер был, бесспорно, высшей минутой его писательского чувства. Тут он был увенчан и поднят на щит цветом женской русской молодежи, самой свободомыслящей, трудовой, самоотверженной и честной... Овации утомили его тогда чрезвычайно, и я нашел его в отеле перед отъездом за границу совсем без голоса... И все-таки каждый день являлись депутации... больше женские...

Не прошло и двух лет, как болезнь со злостью схватила его в свои когти. Вся Россия стала следить за ее натисками и передышками. Тургенев был *тогда только* понят и оценен *всей страной*... Пропало фрондерство, зубоскальство было уже немыслимо – его бы приняли все за кощунство, даже те, кто прежде забавлялся пародиями на его лучшие вещи. Только в двух-трех журналах, держащихся слишком ревниво тенденциозности 60-х годов, его «не признают» так, как признают его Россия и вся Европа, преклонившаяся

перед его талантом... Доживал он, удостоенный выходок злобы, позорных инсинуаций «Московских ведомостей» и «Русского вестника», который он когда-то украсил такими вещами, как «Накануне» и «Отцы и дети». Без этой злобы и этих доносов слава Тургенева была бы неполна. Они являлись новым доказательством того, как он верен остался своим идеалам, в то время как те, кто его когда-то печатал, показали свою настоящую суть... с переменой ветра.

Скажем, положив руку на сердце, перед могилой нашего художника-писателя, не очень-то ему, должно быть, сладко приходилось от родины на первых шагах его творческого пути, коли он две трети своей жизни провел за границей. Великое ему спасибо и за то, что он совсем не бежал, когда должен был лишиться свободы за несколько сочувственных слов... о ком?.. о Гоголе!.. У, нас он был больше гость, чем постоянный житель; но все, что он мог вобрать в свою творческую душу, он вобрал и передал это в образах не одним нам, но и всему свету, той Европе, которую он чтил, как общую мать науки, свободы и человечности, от-

куда он взял почти все свое духовное добро.

Связь с Европой держала его на высоте все тех же начал и упований, в то время как столько русских писателей и общественных деятелей свихнулись и стали пятиться к татарской орде и византийскому изуверству... Честь и хвала Европе!.. В таких людях, как Тургенев, мы сливаемся с ней всем, что нам драгоценно... И мы знаем, как она умела ценить в нем и писателя и человека.

Мы бывали не раз лично свидетелями того, как на съездах во Франции чествовали Тургенева. На Литературном конгрессе 1878 года все – *par acclamation* (без голосования (фр.)) – выбрали его президентом. Надо было видеть, как иностранцы писатели преклонялись не только перед его талантом, но и перед фигурой, обаянием его облика. Он царил над ними своей серебристой головой и благодушным лицом чисто русского, народного – барского типа. А на себя Тургенев, что бы он ни чувствовал внутри души в минуты писательских обид, смотрел всегда своеобразно и непритязательно. Вот два образчика этого из моих бесед с ним. В конце 60-х годов, когда

все к нему придирались в печати, он говорил мне раз:

– Зачем это требуют все от меня: подавай я им чего-то необыкновенного!.. Надо нам смотреть на себя, как на пирожников. Иной раз пирожок удастся, а иной и Перегорит. И хороший-то съедят, да и кончено!..

А лет через десять, в большой беседе о графе Льве Толстом, он самым искренним образом воскликнул:

– У меня нет и одной десятой таланта, какой у Левушки Толстого. Он сам не знает размеров своей творческой силы. Это какой-то слон по дарованию!..

Разве не лучше всего кончить такими подлинными словами писателя, которого и на Западе называют: «Великий мастер»?

Примечания

1

Король умер, да здравствует король! (фр.)

[^^^]